

18 СЕН 1965

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЖУРНАЛА «ПРОСТОР»

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

К 70-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ

РОЖДЕНИЯ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НАРОДНОГО
АРТИСТА СССР В. И. КАЧАЛОВА).

До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным, не видел его лица. Не видал даже его портретов. Почему-то представлялся он мне рослым, широкоплечим, широконосим, скуластым, басистым. И слышал о нем, об его личности очень немного, почти не имел общих знакомых. Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 году, в каком-то журнале. И потом, во время моих скитаний по Европе и Америке, всегда возил с собой сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой — в американском чемодане горсточку русской земли.

«Приведем к вам сегодня Есенина» — объявили мне как-то Пильняк и Ключарев. Это было, по-моему, в марте 1925 года. «Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться». Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Я вошел и увидел Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одной рукой обнял Джима за шею, а другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться», — бормотал Есенин с широко распывшейся детски-лукавой улыбкой. Сразу запомнилась мне эта его, как будто даже с хитрецей, улыбка.

Меня поразила его молодость. Когда он молча и, мне показалось, застенчиво подал мне руку, он выглядел почти мальчиком, ну, юношей лет двадцати. Когда он заговорил, сразу показался старше, в звуке голоса послышалась неожиданная мужественность. Когда выпил первые две-три рюмки, он сразу заметно постарел. Как будто усталость, на какие-то секунды большая серьезность, даже некоторая мучительность, застыла в глазах. Глаза и рот сразу заволновали меня своей огромной выразительностью. Вот он о чем-то заспорил и внимательно, напряженно, слушает оппонента: брови только слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а только упрямо и очень серьезно. Чуть приподнялась верхняя губа, и какое-то хорошее выражение, лицо пылливое, вдумчивое, в чем-то очень честное, в чем-то даже строгого, здорового парня — парня с крепкой «башкой».

А вот он встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой — особенно, по-своему, и заулыбался — широкой, сочной, озаряющей улыбкой, и глаза засветились — «синими брызгами».

Замечательно читал Есенин стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства и потом, каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда испытывал радость. У него было настоящее мастерство и разительная искренность. И всегда — сколько я его ни слышал — у него, и у трезвого, и у пьяного, всегда становилось прекрасным лицо, как он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное (без грима, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов. Думаю, что, если бы почему-нибудь не доносился его голос, если бы почему-нибудь не было слышно, наверно, можно было бы, глядя на его лицо, угадать и понять, что именно он читает.

Джиму уже хотелось спать. Он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал. И когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу»...

Компания разошлась. Я сидел и разбирался в своих впечатлениях. Все в нем, Есенине, ярко и сбивчиво, неожиданно, — контрастно. Тут же на глазах он меняет лики, но ни на секунду не становится безличным. Белоголовый юноша, тонкий, стройный, ладно скроен и как будто не крепко сшит, с васильковыми глазами, не страшными, не мистическими, не нестеровскими, а такими живыми, такими просто-синими, как у тысяч рязанских новобранцев на призыве, — рязанских и московских, и тульских — что-то очень широко-русское. Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок, сверху на шею накинута еще шелковое сиреневое кашне, как будто забыл или не захотел снять в передней. Напудрен... Мотнул головой, здороваясь, взметнулись светло-желтые кудри рязанского парня... Рука хорошая, крепкая, не выхолненная, мужицкая. Голос с приятной сипотой... Заговорил этим сиплым баском — сразу растаяла, рассыпалась «европейская культура», и уже не лезут в глаза ни кашне на шею, ни галстук парижский. Но выпил как водку, с привычной гримасой (как будто очень противно) — и — ох: Рязань пьет в кабаке. Выпил, крикнул, взметнул шапкой волос и, откашлявшись, начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым...

И кончил тихо, почти шепотом, почти молитвенно:

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло прощенье и умереть.

Ох, подумал я, с какими иными «культурами» общается Есенин, в какие иные миры свободно вторгается этот наш «рязанский мужик».